

Африканская охота. Николай Степанович Гумилев

Из путевого дневника

На старинных виньетках часто изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту ее форм, и всегда, всегда окруженной дикими зверями. Над ее головой раскачиваются обезьяны, за ее спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет ее ноги, рядом на согретом солнцем утесе нежится пантера.

Художники не справлялись ни с ростом колонизации, ни с проведением железных дорог, ни с оросительными или осушительными земляными работами. И они были правы: это нам здесь, в Европе, кажется, что борьба человека с природой закончилась, или во всяком случае перевес уже, очевидно, на нашей стороне. Для побывавших в Африке дело представляется иначе.

Узкие насыпи железных дорог каждое лето размываются тропическими ливнями, слоны любят почесывать свои бока о гладкую поверхность телеграфных столбов и, конечно, ломают их, гиппопотамы опрокидывают речные пароходы. Сколько лет англичане заняты покорением Сомалийского полуострова и до сих пор не сумели продвинуться даже на сто километров от берега. И в то же время нельзя сказать, что Африка не гостеприимна, – ее леса равно открыты для белых, как и для черных, к ее водопоям по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Но она ждет именно гостей и никогда не признает их хозяевами.

Европеец, если он счастливо проскользнет сквозь цепь ноющих скептиков (по большей части из мелких торговцев) в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тот, назад: безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока, и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени шангалей, у которых женщина в присутствии мужчины не смеет ходить иначе, чем на четвереньках; и, если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен одинаково закалить и свое тело и свой дух: тело – чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух – чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь не похожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным.

Красное море – бесспорно часть Африки, и ловля акулы в Красном море может быть прекрасным вступлением к африканским охотам. Мы бросили якорь перед Джеддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джедды, окаймляемых чуть розоватой пеной. Не в честь ли их и хаджи-мусульмане, бывавшие в Мексике, носят зеленые чалмы?

Пока грузили уголь, было решено заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Ко акул совсем не было видно, или они проплыли так далеко, что их лощманы не могли заметить приманки; акула очень близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые наводят ее на добычу и полу чают за это свою долю – они-то и называются лощманами.

Наконец, в воде появилась темная тень, сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только дернула приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо огорченная исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лощманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослабел, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами; такие глаза я видел только у старых, особенно свирепых кабанов. Десять матросов с усилием тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт парохода и словно винтом бурлила им в воде. Помощник капитана, перегнувшись через перила, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и затихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилие, и страшная туша уже у самого борта. Кто-то тронул ее за голову, и она лягнула зубами. Видно было, что она совсем свежа и собирается с силами для решительного боя. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким прямым ударом проткнул ей грудь и, натужившись, довел разрез до конца. Хлынула вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два длиною, губчатая печенька и кишки вывалились и закачались в воде, как еще невиданной формы медузы.

Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце, и оно, пульсируя, двигалось то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лощман. Его товарищ исчез, очевидно, мечтая скрыться в каких-нибудь отдаленных бухтах позор невольного предательства. Но тот был безутешен: верный до конца, он подсказывал над водой, как бы желая посмотреть, что там делают с его госпожой, крутился вокруг плавающих внутренностей, к которым жадно спешили другие акулы, и всячески высказывал свое последнее отчаянье.

Акуле отрубили челюсти, чтобы вырвать зубы, все остальное бросили в море. Закат в этот вечер над зелеными мелями Джедды был широкий и ярко-желтый алым пятном солнца посередине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест.

Там, где Абиссинское плоскогорье переходит в низменность, и раскаленное солнце пустыни нагревает большие круглые камни, пещеры и низкий кустарник, можно часто встретить леопарда, по большей части разленившегося на хлебах у какой-нибудь одной деревни. Изящный, пестрый, с тысячью уловок и капризов, он играет в жизни поселян роль какого-то блистательного и враждебного домового. Он крадет их скот, иногда и ребят. Ни одна женщина, ходившая к источнику за водой, не упустит случая сказать, что видела его отдыхающим на скале и что он посмотрел на нее, точно собираясь напасть. С ним сравнивают себя в песнях молодые воины и стремятся подражать ему в легкости прыжка. Время от времени какой-нибудь предприимчивый честолюбец идет на него с отравленным копьем и, если не бывает искалечен, что случается часто, тащит торжественно к соседнему торговому атласисту с затейливым узором шкуру, чтобы выменять ее на бутылку скверного коньяку. На месте убитого зверя поселяется новый, и все начинается сначала.

Однажды к вечеру я пришел в маленькую сомалийскую деревушку, где-то на краю Харрарской возвышенности. Мой слуга, юркий харрарит, тотчас же сбежал к старшине рассказать, какой я важный господин, и тот явился, неси мне в подарок яиц, молока и славного полугодовалого козленка. По обыкновению, я стал расспрашивать его об охоте. Оказалось, что леопард бродил полчаса тому назад на склоне соседнего холма. Так как известке было принесено стариком, ему можно было верить. Я выпил молока и отправился в путь; мой слуга вел, как приманку, только что полученного козленка.

Вот и склон с выцветшей, выжженной травой, с мелким колючим кустарником, похожий на наши свалочные места. Мы привязали козленка посередине открытого места, я засел в куст шагах в пятнадцати, сзади меня улегся с копьем мой харрарит. Он тараторил глаза, размахивал оружием, уверяя, что это восьмой леопард, которого он убьет; он был трус, и я велел ему замолчать. Ждать пришлось недолго; я удивляюсь, как отчаянное блеяние нашего козленка не собрало всех леопардов округа. Я вдруг заметил, как зашевелился дальний куст, покачнулся камень, и увидел приближающегося пестрого зверя, величиною с охотничью собаку. Он бежал на подогнутых лапах, припадая брюхом к земле и слегка махая кончиком хвоста, а тупая кошачья морда была неподвижна и угрожающа. У него был такой знакомый по книгам и картинкам вид, что первое мгновение мне пришла в голову несообразная мысль, не бежал ли он из какого-нибудь странствующего цирка? Потом сразу забило сердце, тело выпрямилось само собой, и, едка поймав мушку, я выстрелил.

Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дергались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова все больше и больше клонилась на сторону: пуля перебила ему позвоночник сейчас же за шеей. Я понял, что мне нечего ждать его нападения, опустил ружье и повернулся к моему ашкеру. Но его место было уже пусто, там валялось только брошенное копье, а далеко сзади я заметил фигуру в белой рубашке, отчаянно мчавшуюся по направлению к деревне.

Я подошел к леопарду; он был уже мертв, и его остановившиеся глаза уже заволокла беловатая муть. Я хотел его унести, но от прикосновения к этому мягкому, точно бескостному телу меня передернуло. И вдруг я ощутил страх, нарастающий тягучим ознобом, очевидно, реакцию после сильного нервного подъема. Я огляделся: уже сильно темнело, только один край неба был сомнительно желтым от поднимающейся луны; кустарники шелестели своими колючками, со всех сторон выгибались холмы. Козленок отбежал так далеко, как ему позволяла натянутая веревка, и стоял, опустив голову и цепенея от ужаса. Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно.

Но вот я услышал частый топот ног, короткие, отрывистые крики, и, как стая воронов, на поляну вылетел десяток сомалей с копьями наперевес. Их глаза разгорелись от быстрого бега, а на шее и лбу, как бисер, поблескивали капли пота. Вслед за ними, задыхаясь, подбежал и мой проводник, харрарит. Это он всполошил всю деревню известием о моей смерти.

То медлительная и широкая, то узкая и кипучая, как горный поток, река Гавашь окружена лесами. Не лесом мрачным, сырым, тянувшимся на сотни миль, а лесами-оазисами. как те, о которых поется в народных песнях, полными звоном ручьев, солнечными просветами и птичьим пересвистываньем. Там на просторных лужайках пасутся буйволы, в топких местах и в глубине кустарников залетают кабаны. С востока и запада туда идут поохотиться люди, с севера, из Данакильской пустыни – львы.

Встречаются они редко, так как одни любят день, другие – ночь. Днем львы дремлют на вершинах холмов, откуда, как со сторожевой вышки, обозревают окрестность; если приближается человек, они неслышно сползают на другую сторону холма и уже тогда убегают. А ночью люди окружают свой лагерь кольцом ярких костров. Таким образом взаимные нападения крайне редки.

Как-то в полдень в одном из таких лесов, где я забавлялся, стреляя марабу, мой слуга, бывалый абиссинец, громадный, с рябым лицом, указал мне на след у самой воды. «Анбасса (лев), – сказал он, понизив голос, – он сюда ходит пить». Я усомнился: если лев пил здесь сегодня ночью, то кто поручится, что он и завтра придет сюда же. Но мой слуга поднял с земли беловатый твердый шарик, доказывающий, что лев приходил сюда и прежде; я был убежден. Убить льва затаенная мечта всякого белого, приезжающего в Африку, будь то скупщик каучука, миссионер или поэт. По зрелом обсуждении вопроса, мы решили устроить на дереве помост и засесть там на целую ночь. Так и лев может подойти ближе, и стрелять сверху вернее.

Удобное место нашлось неподалеку, на краю небольшой лужайки. Мы работали до вечера и соорудили неуклюжий косой помост, на котором можно было, свесив ноги, кое-как усесться вдвоем. Чтобы не стрелять лишней раз, мы поймали аршинную черепаху и поужинали ее печенкой, изжаренной на маленьком костре. Ночь застала нас на своих местах.

Ждали долго. Сперва было слышно, как запоздалые кабаны ворочались в кустарниках, потом беспокойно прокричала какая-то птица, и стало так тихо, будто весь мир разом опустел. Потом взошла луна, и мы увидели посреди лужайки дикобраза, который к чему-то принюхивался и рыл землю. Но вот вдали раскатисто ухнула гиена, и он, семеня, побежал в чащу. У меня страшно затекали ноги. Мы просидели так часов пять.

Только путешественник может себе представить, что такое усталость, и как может хотеться спать. Я уже раза два чуть не упал с моей вышки и наконец, озлобившись, решил слезть. Лучше отложить охоту на следующую ночь, а днем хорошенько выспаться. Я лег ничком в кустах, положив рядом с собой ружье, мой слуга остался на дереве. Как всегда бывает с очень усталым человеком, меня охватил не сон, а тяжелое оцепенение. Я не мог шевельнуться, но слышал все дальние шорохи, чувствовал, как склонялась и бледнела луна.

Вдруг я очнулся, как будто от толчка, – я только потом сообразил, что это мой слуга зашептал мне с дерева: «Гета, гета (господин, господин)», – и на дальнем конце лужайки увидел льва, черного на фоне темных кустов. Он выходил из чащи, и я заметил только громадную, высоко поднятую голову над широкой как щит, грудью. В следующий миг я выстрелил. Мой маузер рывкнул особенно громко в полной тишине, и, словно эхо, вслед за этим пронесся треск ломаемых кустарников и поспешный скак убегающего зверя. Мой слуга уже соскочил с дерева и стоял рядом со мной, держа наготове свою берданку.

Усталости как не бывало. Нас захлестнуло охотничье безумье. По кустам мы обежали лужайку, – идти напрямик мы все-таки не решались, – и стали разглядывать место, где был лев. Мы знали, что он убегает после выстрела, только если ранен очень тяжело, или не ранен совершенно. Зажигая спичку за спичкой, мы ползком искали в траве капель крови. Но их не было. Лесное диво счастливо унесло свою рыжую шкуру-, громоподобный голос и грозную негу бархатных и стальных движений.

Когда рассвело, мы позавтракали остатками черепахи.

Мой друг, молодой и богатый абиссинец лидж Адену, пригласил меня погостить в его имени. – «О, только два дня пути от Аддис-Абебы, – уверял он, – только два дня по хорошей дороге». Я согласился и велел на завтра оседлать моего мула. Но лидж Адену настаивал, чтобы ехать на лошадях, и привел мне на выбор пять из своего табуна.

Я понял, почему он так хотел этого, сделав с ним в два дня по меньшей мере полтора верста.

Чтобы рассеять мое недовольство, вызванное усталостью, лидж Адену придумал охоту, и не какую-нибудь, а облаву.

Облава в тропическом лесу – это совсем новое ощущение: стоишь и не знаешь, что покажется сейчас за этим круглым кустом, что мелькнет между этой кривой мимозой и толстым платаном; кто из вооруженных копытами, когтями, зубами выбежит с опущенной головой, чтобы пулей приобщить его к твоему сознанию; может быть, сказки не лгут, может быть, действительно есть драконы...

Мы стали по двум сторонам узкого ущелья, кончающегося тупиком; загонщики, человек тридцать быстроногих галласов, углубились в этот тупик. Мы прицепились к камням посреди почти отвесных склонов и слушали удаляющиеся голоса, которые раздавались то выше нас, то ниже и вдруг слились в один торжествующий рев. Зверь был открыт.

Это была большая полосатая гиена. Она бежала по противоположному скату в нескольких саженях над лидж Адену, а за ней с дубиной мчался начальник загонщиков, худой, но мускулистый, совсем голый негр. Временами она огрызалась, и тогда ее преследователь отставал на несколько шагов. Я и лидж Адену выстрелили одновременно. Задыхающийся негр остановился, решив, что его дело сделано, а гиена, перекувырнувшись, пролетела в аршине от лидж Адену в воздухе щелкнула на него зубами, но, коснувшись ногами земли, как-то справилась и опять деловито затрусилась вперед. Еще два выстрела прикончили ее.

Через несколько минут снова послышался крик, возвещающий зверя, но на этот раз загонщикам пришлось иметь дело с леопардом, и они не были так резвы.

Два-три могучих прыжка, и леопард был наверху ущелья, откуда ему повсюду была вольная дорога. Мы его так и не видели.

Третий раз пронесся крик, но уже менее дружный, вперемежку со смехом. Из глубины ущелья повалило стадо павианов. Мы не стреляли. Слишком забавно было видеть этих полусобак, полулюдей, удирающих с той комической неуклюжестью, с какой из всех зверей удирают только обезьяны. Но позади бежало несколько старых самцов с седой львиной гривой и оскаленными желтыми клыками. Это уже были звери в полном смысле слова, и я выстрелил. Один остановился и хрипло залаял, а потом медленно закрыл глаза и опустился на бок, как человек, который собирается спать. Пуля затронула ему сердце, и, когда к нему подошли, он был уже мертв.

Облава кончилась. Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и по сему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую умень палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно.